

Глеб Иванович Успенский

«Взбрело в башку»



Глеб Иванович Успенский

«Взбрело в башку»

Серия «Кой про что», книга 13

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666005*

Аннотация

«...в окончательной редакции Успенский показывает нам сложную психологическую драму, вызванную определенными социальными условиями и истолкованную писателем при помощи его теории «власти земли». Соответственно этому коренной переработке подвергся образ Ивана Алифанова – вместо рядового крестьянина первой редакции, выбитого из привычной колеи волей «слепого случая», во второй редакции мы встречаемся с умным, независимым, волевым человеком, благородным и совестливым. Сложнее даны и его переживания, связанные с воспоминаниями о его первой любви, освобожденные во второй редакции от всех элементов плотского, чувственного; многообразнее показаны и его взаимоотношения с женой. Муки, страдания и падение Ивана Алифанова во второй редакции объясняются отходом его от «трудовой тяготы» крестьянской жизни, появлением в деревне «не-деревенских» неожиданностей, «не-деревенских» переживаний, городских «сентиментальностей»...»

Содержание

I	4
II	9
III	16
IV	25
V	36
VI	42
Примечания	50

Глеб Иванович Успенский

«Взбрело в башку»

(Из записок деревенского
обывателя)

I

...Утомителен и однообразен наш деревенский «недосуг». Суетою сует переполняет он дни и годы нашего деревенского существования, владеет всем нашим существом от колыбели и до могилы и, увенчав могильною насыпью иногда многолетнюю недосужную жизнь деревенского человека, не оставляет о нем среди продолжающих жить людей почти никаких поводов к воспоминанию. Но если вся наша деревенская жизнь наполняется только такою суетой сует и таким, повидимому, пустопорожним недосугом, то каково же должно быть наше душевное состояние, если судьба неожиданно пошлет нам «досуг» и повелит на некоторое время прекратить суету сует, призовет нас к спокойствию, отдохновению и даст на некоторое время право позабыть хоть на несколько часов деревенскую злобу дня? Тут нам, настоящим деревенским обывателям, уж и совсем нехорошо, со-

всем скучно становится, и самый лучший исход – лечь среди бела дня спать. Но и этот-то способ употребления «досуга» водворен в народной жизни не без усилий со стороны посторонней власти и влияний: не работать, прекратить на время суету сует, – убеждает народ батюшка с амвона; надо же, говорит он, и богу посвятить день, почтить его, не все только своекорыстная возня около своего дома и своего добра. Надобно не пожалеть денег на свечку. Некоторые угодники требуют прекращения работы под угрозой известным наказанием: в известные дни нельзя работать железом, нельзя прясть пряжу и т. д. На том свете, в аду, по рассказам старух, которые сами в обморочном состоянии бывали там, на небе, и которых ангел водил по мытарствам, – всегда указаны с точностью муки, которые испытывают мужики и бабы, не соблюдавшие пятницы, работавшие по праздникам. Бабы, например, которые работали по пятницам, задыхаются там, на том свете, в избах, наполненных кострикой: им нельзядохнуть, нельзя открыть глаз – кострика окутывает их непроницаемым облаком. «Все жадность наша! – говорит приверженный к дому хозяин, не вытерпевший до захода солнца и потихоньку от взоров угодника, запрещающего работу, постукивающий где-нибудь в темном уголке сарая топором. – Жадность в нас ненасытная!» Если ж господа землевладельцы жалуются на рабочих, что у них оказывается чуть не триста шестьдесят праздников в году, так ведь здесь уж совсем иное дело; у хозяина – поденщина, *не свое хозяй-*

ство, и в этом случае стоять за праздники, за то, что грех, мол, не хочется взять на душу, прямой расчет для мужика. Тут он уж и сам стремится отвоевать себе всячески как можно больше досугу и большею частью сладко спит в эти сладкие часы. Хорошо спят мужики среди бела дня, крепко, сладко. Тишина в деревне «после обедни» удивительная. Солнце сияет, воздух струится жаркими колебаниями, а деревня сладко спит: кто на лавке, кто на полатях, кто на сеновале – все; старики и старухи, молодые и старые бабы, здоровенные работники-гиганты – все это растянулось, разметалось, где пришлось, и наслаждается безграничным блаженством сна.

Случись в эту пору появиться в деревне какому-нибудь начальству, не только по какому-нибудь серьезному, не требующему отлагательства делу, но просто для перемены лошадей, и то мертвая тишина и мертвое безмолвие спящей деревни может вывести его из пределов терпения. Волостное правление отперто, и веселый ветер, хлопая незапертую рамой, играет разными «строжайшими» предписаниями, таская их без всякой церемонии по полу и присутственному столу. «Эй, кто там?» – может вопить начальство во всю силу голоса, но никто ниоткуда ничего на это не ответит. Можно стучать ногами, кулаком, кричать, заставить кричать на весь двор ямщика, – ни звука! «Эй!» – будет вопиять ямщик, стуча под окнами. «Эй, кто-нибудь!» – будет вопиять начальник, и в ответ им только безмолвие, солнце и тишина; ни признака чего-нибудь живого, или хоть движущегося. Даже

в домах причта – у батюшки, у дьякона – все немо и неподвижно; если ямщику и удастся разбудить работницу, раскачав ее за жирный бок, то и она, в конце концов, только почесет этот бок и перевернется на другой. «Что они, вымерли, что ли, тут все?» Вот к чему придет выведенный из терпения начальник, пока на выручку ему не явится какая-нибудь ветхая, терпеливо поджидающая смерти, старушка, не спросит беззубым ртом: «кого надо?» – и не укажет рукой, где надобно искать живых людей.

И я думаю, что «спать» крепко и сладко – значит самым разумным образом употребить деревенский досуг. У пьющего есть кабак, а у непьющего? Ведь, пожалуй, как останешься без суеты сует, да, побоясь огорчить угодника, не посмеешь тронуть топора, да не будешь спать, так придется сидеть да «думать», а ведь это дело трудное, трудное уже только потому, что понять невозможно, из-за чего живешь на свете? Зачем вся эта суета сует, эта ежедневная маята из-за скотины, из-за податей? Да мало ли чего «взбредет в башку», ежели начать на досуге думать обо всем, доходить до всего, разбирать свою жизнь – как, что, почему, как бы лучше, да почему хуже, да отчего то не так вышло и это сделалось не по желанию и вкусу, а совсем наоборот? Коли все это обдумать, так ум за разум зайдет. Лучше бы, конечно, взять топор, да... да угодник осерчает: нельзя железом работать – овса не уродит!

– Пойти хоть на сеновале полежать! – говорит томимый досугом житель и успокаивается в безмятежном сне.

А вот один мой знакомый мужик, Иван Алифанов, человек, всегда удалявшийся от общения с односельчанами, сухой, молчаливый, нелюдимый, пользовавшийся недоброю славой «осторожного» и всячески остерегавшийся пробудить в неласковом к нему обществе воспоминания о его прошлом, – вот этот-то человек, многие годы державший себя самого в «ежовых рукавицах», понемногу, под влиянием *докуга*, стал подумывать «о своей жизни», и от этих дум взбрекло ему в башку такое ни с чем «несообразное», что он мало того, что взбудоражил всю деревню, а и сам-то еле жив остался, чуть не помер, да только бог его спас – сжалился над ним... А не думал бы, так ничего этого и не было бы... Хорошо хоть бог-то спас, и то слава богу!

II

Досуг, благодаря которому Ивану Алифанову «взбрело в башку» нечто несообразное и едва не уложившее его в могилу, был не какой-нибудь кратковременный, ординарный, праздничный досуг, который и не заметишь, как проспичь, а досуг особенный, давший возможность вообще всему крестьянству всей округи вздохнуть, «сообразиться» и отдышаться в течение почти всей осени. Причина такого необыкновенного досуга – необыкновенный в наших трясинных местах урожай прошлого года. Опахнул этот урожай своим благословенным крылом всю нашу округу – все эти лачужки, плетушки – на большое пространство; опахнуло это крыло теплом, и покоем, и сладким отдыхом множество земледельческого народу, и притом почти на все осенние и зимние месяцы, вплоть до поста. Все клетки – всех окладных листов, всех бюджетов – были в изобилии засыпаны хлебом, овсом, льном, картофью, огурцом и капустой – гриб только не объявился: все у него отняли прочие, более серьезные растения; но об этом никто не печалился. Хлеба, овса, всего было довольно, «слава богу», и у всех осталось после наполнения доверху всевозможных бюджетов всего много. Редко это, чрезвычайно редко бывает в наших местах, но когда бывает хоть на неделю – хорошо и весело смотреть на белый свет. Это именно год, когда мужику придет охота купить книгу, кар-

тинку, потому что есть на что купить; год, когда придет в голову пойти послушать, как мальчонка у соседней книжку читает – словом, год, когда досуг настолько продолжителен, что иной крестьянской голове, обрекшей себя на вечную печаль и тоску, окажется возможным просветлеть, ободриться, осветиться радостною мыслью... Повалившаяся лачужка преобразилась в новый домишко, появилась в безлошадном дворе лошаденка – и почерневшее от мрака душевного лицо просветлело и повеселело. Хорошие это времена в жизни крестьянина!

Этот урожайный, то есть не праздничный, а исключительный досуг отразился на Иване Алифанове особенно благоприятно; он жил с женой только вдвоем, детей у них не было; а урожай уродил так много, что даже с первых дней осени Иван Алифанов не нашел нужным продолжать своего извозчицкого промысла, стал ездить на вокзал в неделю раз, два, а иногда и по неделям не нуждался в заработке; урожай заставил его подумать о себе попокойней, подумать о скотине, которую он за летнее, дачное время и рабочую пору порядочно-таки загонял, и Иван Алифанов стал думать.

Прежде всего он увидел, что у него уже лет восемь как болят ноги; по ночам ревматические боли, не дают ему сомкнуть глаз, и жене он покою не дает. По временам он брал в аптеке какую-нибудь мазь, мазал ею ноги, но так как за недосугом дома побывать было нельзя, нельзя было и полежать, а надо было в полночь и за полночь ехать, куда наймут с вок-

зала, то ноги продолжали болеть, как им болелось. Теперь он «на досуге» почувствовал, что они болят самым настоящим манером и что болеть как-нибудь хуже, пожалуй что, уж и нельзя; он разулся, осмотрел эти ноги, которых он «путем» не видал, может быть, всю жизнь, «ужахнулся» их ужасному виду, этим налившимся кровью жилам, этим опухлым местам, к которым оказалось больно притронуться пальцем, удивился всему этому, увидел, что «таким родом» можно остаться и без ног, и решил лечиться серьезно.

В аптеку, к фельдшеру, даже к доктору он не пошел: «пробовал, мазал – не помогает»; а по совету вокзального буфетчика, у которого ноги от непрерывного в течение всей жизни стояния за буфетом страдают всевозможными недугами, купил в аптеке трав под общим названием «декоп», рецепт которых написал буфетчик. «Декоп» был настоян на водке; надо было его пить по три рюмки в день: утром, в полдень и вечером, а когда почувствуется облегчение, то и по четыре. Все это Иван Алифанов припас, устроил как должно и принялся лечиться. Не будь урожая, не было бы досуга; ноги Ивана болели бы без лекарства, и ему некогда было бы даже и «оглядеть» их хорошенько. Теперь же, благодаря досугу, он их оглядел, увидел, что они больны, что надо лечиться, что можно лечиться, и, перекрестившись на образ, осторожно налил первую рюмочку «декопу», а затем и выпил.

И пошло по «всему суставу» Ивана Алифанова тепло, и стало ему приятно. «Приятное» душевное настроение дотя-

нулось и до второй рюмочки «декопу», и до третьей, и весь этот первый день лечения, первый день отдыха и забвения суеты сует, прошел для Ивана Алифанова приятно, ново, не как обыкновенно; после второй рюмки «декопа», часов в одиннадцать дня, Иван Алифанов пообедал и, против обыкновения, лег спать, укрывшись шубой; спал он бесподобно, до того что потом едва отпился чаем и привел себя в чувство; третья рюмка «декопа» опять хорошо на него подействовала, и накопленной годами усталости оказалось настолько достаточно, чтобы, и выспавшись после обеда, можно было богатырским сном проспать и всю ночь до утра.

Но по мере того как Иван Алифанов благодаря досугу и «декопу» все более и более осваивался с необычным для него положением отдыхающего человека, все нажитое и пережитое им в обычное время жизни стало понемногу заявлять ему о себе и о том, что от него остались в душе и теле следы неизгладимые. Прежде всего стало заявлять о своих попорченных жизнью правах тело, а потом заговорил и дух. Кроме «до ужаста» больных ног, которые можно было увидеть во всем их потрясающем виде только благодаря досугу, на третий, четвертый день отдохновения заговорила и спина. «О-о-ох!» – простонал Иван Алифанов, поднявшись с постели после необычного в обыкновенное время отдохновения; отдохнувшие больные ноги стали так чувствительны, что, оказалось, ступать надо с осторожностью. Заболели бока, под ложечкой стало подпирать точно кулаком, под скулой

что-то начало напухать.

«Старость!» – с испугом подумал Иван Алифанов на пятые сутки отдохновения, еле передвигая ноги от постели до окна с бутылью декопа. Эта мысль так неожиданно испугала Ивана Алифанова, что он, не обдумавши, что делает, выпил сразу две рюмки декопу, и уже не с приятностью, а с огорчением; декоп, горький и жгучий, падал куда-то в «горькое место», которое стал ощущать Иван Алифанов под сердцем. Точно угольем жег декоп «горькое» болезненное место, и Иван почувствовал, что именно там, в горьком месте, под сердцем, стала шевелиться вся его прошлая жизнь, о которой он уже и позабыл за недосугом.

«Почитай что уж к могилке дело идет!» – с горечью думал он, отирая рот после второй рюмки; и с испугу и с предчувствием каких-то мрачных воспоминаний, которые у него зашевелились «под сердцем», он, чтобы сразу сбросить с себя неожиданную тоску, надел проворно шапку, накинул полушубок и вышел на двор по хозяйству. Хозяйство всегда разгонит «мысли», отвлечет внимание от своего горя.

Он вошел в сарай единственно только с сознанием необходимости заглушить тоску, точившую сердце. Только с этою исключительно практическою целью взял он вилы и стал поправлять висевшие с сеновала клочья сена, в чем в сущности не было особенной надобности. Он работал вилами, нетерпеливо ожидая, когда перестанет «глодать» его душу, когда им завладеет интерес к каким-нибудь хозяйственным мело-

чам, он тщательно прислушивался к своему сердцу: «не затихает ли там? не забывается ли?» – и вдруг...

Вдруг, нежданно-негаданно, но сразу, мгновенно в тоскующем сердце и в скучавшем уме, без малейшего повода, в мельчайших подробностях возник образ Аннушки, девушки, которую Иван Алифанав крепко любил в юношеские годы и из-за которой потом вся жизнь Ивана Алифанова превратилась в ужаснейший мрак. Аннушка не просто вспомнилась Ивану, а прямо ощутилась тут, рядом с ним, с человеком, который еле держится на ногах, который держит «с горя» в руках дурацкие вилы, стоит ногами в навозе. Молодая, бойкая, умная, ловкая, смелая, продувная девушка, она, с своими карими глазами, влекущими к какой-то неиссякаемой радости, прекращающими всякую тревогу жить на свете, она, которая сама первая дернула его за рукав и шепнула: «пымай!» – словом, вся она, живая, до поразительности ясно ощутимая, не просто только вспомнилась Ивану, а вполне ощутилась тут, рядом с ним, в сарае, и даже голос ее он услышал совершенно ясно – смешливый и любящий. Аннушка до того неожиданно воскресла в душе Ивана и притом до того явственно ощущалась им, что Иван даже оглянулся на избу: «не увидала бы жена!» Так ему чувствовалась близость к нему самой Аннушки; он ощущал почти ее прикосновение, как в былые времена, ее теплое плечо, за которое он ее тогда «пымал» в первый раз.

Точно полымя разлилось совершенно внезапно по все-

му существу Ивана. В пот его ударило. Аннушка как огнем охватила его ум и сердце – словом, вся воскресла в нем в том самом виде, в тех самых ощущениях, как и в старину. И Иван так оторопел от этой неожиданности, так испугался этого образа, что даже проговорил:

– Тьфу ты, каторжная!.. Ишь!.. Сколько годов прошло... Взбрдет же в башку!..

Он до того испугался этого призрака, что со страхом огляделся вокруг себя, оглядел сарай и с сердцем, бьющимся от испуга и от какого-то необыкновенного ощущения, с необыкновенным проворством принялся ворочать вилами, уже без всякого смысла, лишь бы отделаться от неожиданно-го потрясения.

– Чего тут! – урезонивал он себя с величайшею строгостью. – Ноги не ходят... спина скрипит... в могилу того гляди... Эко! Господи помилуй! И сама-то уж калека... старуха... Сохрани и помилуй, господи!

Но, увы, на досуге воскресла во всем великолепии самая счастливейшая минута его жизни – и Иван Алифанов, помимо воли, желания и возможности, уже не мог изгнать Аннушки и ее чудного девичьего образа из своих дум.

III

Выпив две рюмочки «декопа» и опять с еще большею язвительностью почувствовав, что водка попала не в веселое место, а в горькое и болезненное, под самое сердце, Иван Алифанов пообедал и опять лег под шубу, чтобы дать ногам отлежаться. Но образ Аннушки ни на минуту не покидал его. Закрылся он шубой с головою и всячески старался думать о хозяйстве, о том, что он предпримет, поправившись ногами, заговаривал с женой о хозяйственных пустяках – много ли, мол, картофлю, льну – и опять закрывался полушубком; но Аннушка и молодые годы их обоих, несмотря на все усилия Ивана сосредоточиться только на настоящем и окружающем, всплывали в его памяти в самых подробнейших мелочах. Все припоминалось ему как бы назло его тяжелым стариковским мыслям и недугам. И дни, и ночи, и даже цвет неба и воздуха – все живехонько ощущалось им точь-в-точь как в юности. Все тропинки, буераки, кустарники, где они прошли хоть раз, – все стояло как живое.

– Господи, сохрани и помилуй!.. Эко что! Эко что! – сокрушался он, пряча голову под полушубок; но там, во тьме, голос Аннушки звучал так удивительно ясно, что жена Ивана непременно должна была его услышать. Он робел этого голоса, опять с удивлением твердил себе: «Эко что! Эко ведь!» – и никакими силами не мог прекратить воскресения в себе

юношеских ощущений. Только что ясно слышался голос Аннушкин, только что он от него оборонился – проснулось во всей силе ощущение безграничного доверия к этой девушке, ощущение самого радостного повиновения ей, удовольствия повиноваться ей без малейшего желания захотеть что-нибудь самому.

– Ох ты, господи боже мой! Ведь это что такое? – и он опять не мог надивиться на себя, старика с больными ногами: что это с ним творится?

Он ворочался под шубой, закрывая глаза, старался не думать, а Аннушка стоит перед ним как живая...

И вдруг его взяла за сердце мучительная боль. Он понял, что заболело именно в том месте, куда декоп стал проникать в последнее время. Заболело в этом самом горьком месте, заболело от воспоминаний, которые чернее ночи. «Все узнали родители!» – резануло его, как ножом, по сердцу. А родители тогдашние – самодуры и звери лютые... Идут бить и колотить каждый свое порождение... Колотят Ваньку, за волосы таскают, о свадьбе слышать не хотят... Из дома, где живут Аннушкины родители, слышны раздирающие душу вопли, точно давят кого-то за горло... Ваньку дерут в правлении за неповиновение, не говоря ни слова отправляют в Питер к старшему брату, в полотеры... Аннушка не успела оглянуться, как уже оказалась повенчанною с каким-то забулдыгою, который взял ее, зная грех. Звери-отцы, ненавидевшие друг друга, ели и срамили один другого поедом...

Иван Алифанов чувствовал, что слезы залили все его лицо под полушубком. Как «опоенный», очутился он в Петербурге, в полотерной артели... Давно ли он был с Аннушкой, а теперь она от него за тридесять земель, замужем за другим... Ее ему теперь не достать, совсем не видать – она уж чужая, не его.

И горькое место под сердцем, куда декоп вносил что-то жгучее и волнующее, где он кипел, как капля воды, упавшая на горячую плиту, стало терзать Ивана Алифанова непрерывно; стала вспоминаться день за днем вся его каторжная жизнь. Недолго пробыл он в полотерах и в состоянии полного отупения. Злость родилась в нем. В каком-то доме во время работы он стянул часы, пьянствовал неделю, попал в тюрьму. В тюрьме он обнаглел, озверел, не стал бояться ни бога, ни чорта. Однако по выходе из тюрьмы нищета и строгие полицейские преследования, где бы и в каком бы городе или городишке он ни появлялся (и в деревне ему, острожнику, показаться было нельзя), заставили его ради насущного хлеба, скрепя сердце, браться за самые грязные и тяжкие работы, хотя и за копеечное вознаграждение. Профессия дяди Акима была ему не чужда, ловля собак по ночам, служба в ночных извозчиках, служба в таких притонах, где держат подозрительных людей, – вот в каких профессиях прошли у него самые лучшие годы жизни. В это время он научился пить с горя, допивался не раз до белой горячки, а затем опять начинал шляться по темным местам, где принимают

на службу и острожников.

Вспоминая это время, Иван Алифанов совершенно ясно убедился, что именно тогда-то у него и образовалась боль под сердцем – та самая боль, которую теперь разжигал нано-во декоп.

Жизнь его, вероятно, закончилась бы кончиною «человека неизвестного звания», который выплыл из Невы, Оки или Волги после ледохода, – конечно, без одежды и без документов, – если бы у него не умер отец. Братья, имевшие хорошее дело в Петербурге, не желая, однако, терять крестьянства, разыскали бродягу, обошлись ласково и уговорили ехать в деревню. Обрадовался Иван этому предложению, почувствовался, точно воскрес из мертвых. Природный сильный ум помог ему определить свое будущее: общество не сделает его общественником, не даст ему права голоса на сходках, но землю на имя других братьев даст, и он все-таки будет «жить», только жить на белом свете, смотреть на белый свет, никого не касаться и быть в стороне от всех. Больной, измученный, воротился он в опустелый дом (мать умерла давно, сестры были замужем) и стал жить так, что его почти не замечали. Не заметил никто, как он женился, взявши в соседней глухой деревне работающую, молчаливую и довольно тупую девушку. При теперешнем его настроении, то есть самом простом желании отстать от прошлого и только жить на белом свете, жить так, чтобы никто не трогал, не обижал, жить со всеми и от всех в стороне, – его жена, молчаливое,

работящее и тупое существо, была ему как раз под стать. Женился он на ней собственно «для хозяйства», как покупают для хозяйства лошадь, корову, чтобы «жить»; он прибегнул по примеру многих Крестьян, находящихся исключительно во власти сует, к браку, как к самому практичному средству – воспользоваться «бабой» как рабочей силой и привязать ее к дому якобы супружескими отношениями. И «баба» его была также из тех покорных своему бабьему делу существ, которые и под венцом-то, наверное, ни о чем другом не думают, кроме как о вопросах, касающихся рабочей суеты: «много ли горшков-то?.. есть ли кадушка для хлеба?» Вот что постоянно занимало все ее мысли, и такая узость ее мыслей была как раз по душе Ивану Алифанову – с этой бабой можно жить, работать, есть, пить, и больше ничего она не потребует.

Вот так и стал он жить, «лишь бы только жить на белом свете». Пить перестал совершенно, стучал дома целые дни топором, поправляя разрушавшуюся постройку; сам печи поправлял, крышу крыл – словом, замкнулся ото всех в своем доме. Понемногу, при пособии братьев, он обзавелся лошадью, стал извозничать, возить с вокзала и на вокзал, а также брался ездить и с кладью. Жизнь его с женою вся была построена на сознательном плане жить так, а не иначе, и он знал каждый шаг и каждое слово, которые ему надобно сделать или сказать, чтобы в доме был порядок и чтобы баба не затруднялась недостатком сует и недосуга. Нравственной связи между ними, кроме общей надобности жить на свете,

не было никакой – была связь необходимости, которую Иван Алифанов и поддерживал весьма умно, умело и деликатно, особенно ввиду важнейшего недостатка крестьянской семьи – отсутствия детей.

Не меньше восьми последних лет жил Иван Алифанов такую тусклою, замкнутою в самом себе жизнью: что заработает, то истратит – вот было все содержание его ежедневного обихода жизни за все эти годы. Заработает рубль – заедет в лавку, возьмет чаю, сахару, керосину, отвезет домой, отдохнет и опять едет на заработок или работает в поле; а нехватит чего-нибудь – опять едет на вокзал за работой и иногда не бывает дома по неделям. В таком тусклом виде представлялась Ивану Алифанову и вся его последующая жизнь; и такой-то жизни он был рад-радехонек после всего пережитого. Но тусклые годы шли, и прошлое, слава богу, забывалось, уходило куда-то далеко, а настоящее также ничем не трогало...

И вдруг настала неожиданная благодать урожая, а за ним и нежданного досуга. Все пережитое поднялось из-под бремени ежедневной суеты сует. Отозвались болезни, недуги, физические искалечения; вспомнилась вся ужасная, черная, темная жизнь, весь этот мрак сорокапятилетней маяты – и та единственная светлая, удивительная радость жизни, которая связана была с именем Аннушки, не могла не оттаять в душе Ивана, когда весь он во всех отношениях благодаря досугу неожиданно оттаял. Аннушка воскресла в его сердце

точь-в-точь такая, как была, и так как именно с ней связана вся его дальнейшая жизнь, так как от нее, через нее и из-за нее произошло потом все, что было с Иваном до настоящей минуты, то образ Аннушки с каждой минутой стал преобладать над всеми воспоминаниями Ивана; она только одна стала неотступно владеть всею его мыслью, и одна только она наполняла теперь всю жизнь его дома. Он стал непрестанно ощущать присутствие Аннушки во всех своих домашних отношениях; она всегда была между ним и его женой и как бы настоящею хозяйкой дома.

– Ах ты, боже ты мой милостивый! – терзался он страшною болью, все больше и больше развивавшеюся под сердцем, в «горьком месте».

И весь этот день Иван Алифанов не знал минуты покоя; проворочавшись под шубой до ужина и до третьей порции декопу, он с удовольствием проглотил не две уже, а три рюмки этого напитка, которого уже жаждало все то же самое больное место под сердцем, и попытался опять заснуть. Но Аннушка не давала ему покою. Только что он, потолковав с женою про хозяйство, сомкнет глаза – хватъ, Аннушка тут как тут.

Шубейка ее накинута на плечи, на голове красненький платочек, а сама Аннушка шелкает подсолнухи и, издали улыбаясь Ивану, ласково шепчет откуда-то издалека:

– Пымай меня!

– И пымаю!

– Ну, пымай, пымай!

– И пымаю!

Иван со всех ног бежит к Аннушке, а та стоит – не бежит, спокойно ест подсолнухи, не бежит. Но едва Иван хочет схватить ее за плечо, как она уже порхнула, как спугнутая птица, с веселым смехом. Она порхнула вправо, показав Ивану сначала намерение порхнуть влево, и стала путать его без милосердия. Вот она порхает туда и сюда или вдруг бросится навстречу Ивану, мимо него, заставив его без оглядки пробежать в пустое пространство. Иван запыхался, устал, кричит ей: «Постой, Анютка! Дай я тебе что скажу!..», а Аннушка все порхает. Наконец, она как будто поддается; она будто боится, что Иван ее схватит, сломает; она защищается руками, пятится к забору, даже кричит... А Иван не сдаётся, не снисходит, он достиг до Аннушки и «не пускает».

– Какая такая Анютка у тебя завелась?

Суровым, непривычным для Ивана голосом разбудила его жена, до свету поднявшаяся на работу.

– Какую такую Анютку поминал? – грозно и грубо повторила она.

Иван раскрыл глаза, понял, что он во сне проболтался, «осерчал» на себя и в первый раз осерчал на жену.

– Во сне приснилось... Чего орешь-то!

– Анютка кака-то!

Грубый, неожиданный для Ивана идиотский гнев, слышавшийся в голосе его жены, в первый раз пробудил в нем

какую-то к ней неприязнь, и он мысленно в первый раз обругал ее и тотчас же почувствовал, что в «горьком месте» прибавилась новая капля горя.

– Ну, чего там? Знамо, во сне! – грубо сказал он и замолчал.

Но новая капля горя опять с новою силой воскресила в нем образ Аннушки. Одна только она все светлее и светлее вырисовывалась в воображении Ивана, как единственно радостное и благородное во всей его скверной, изломанной, мрачной жизни.

IV

А та новая, жгучая капля горя, которая капнула в «горькое место» после пробуждения от грубого окрика его жены и грубого слова, которым ответил ей Иван, была капля далеко не маленькая. Свет Аннушкина образа, осиявший его мысль и очистивший ее, осиял и его отношения к его жене Анисье, и он увидал, до какой степени он подл относительно этой женщины. Размягченное светлыми воспоминаниями воображение как нельзя ярче отделило теперешнюю его бесовскую жизнь с Анисьей. Взял он ее как скотину, старался о том, чтобы всякого рода труд поглощал всю ее жизнь, жил с ней как муж только для того, чтобы она ему повиновалась. Сразу он увидел, что он такой же подлец, как и те из его односельчан, которые, желая жить в Питере и не желая давать заработки родителям, женятся только для того, чтобы при помощи закона приобрести себе вечного раба и беспрекословного слугу: прожив с молодой женой неделю, много две, такой человек, зная, что животная неосмысленная связь самая несомненная и несокрушимая, уходил в Питер, оставляя дома бабу, которая будет думать только о нем целые годы, дни и ночи, будет жить в ожидании его, в ощущении, что над нею его воля. Деньги, которые он будет присылать, она будет так прятать, что никакие свекры и свекровки не разыщут их, если даже сдерут с нее шкуру. Вот именно такой-то под-

лый, своекорыстный поступок, такое-то поругание над человеком совершил и Иван Алифанов, и чувствовал он этот свой огромный грех самым жгучим образом. Подл и низок он был перед этою кроткою, работающею женщиной; ела его больную душу уже собственная своя подлость; не ему уже, а он сделал безбожное дело с человеком, и это новое горе делало его в собственных глазах ничтожною, грязною и лживою тварью.

Но тот же светлый образ Аннушки, осветив совесть Ивана Алифанова, осветил ему и его жену. «Что за дубина!» – думал он с озлоблением, одновременно терзаясь своим прошлым преступлением. Неприятная сцена ночью пробудила в этой хозяйственной машине женщину, грубую, дикую, нелепую. Не по дням, а по часам в Анисье стала разгораться рыващая ревность, желание отмстить врагу всем, что можно было сделать грубого, безобразного, от чего бы враг ошалел, с ума спятил.

Она стала «пхать» горшками, ухватами; не одевалась, не умывалась; стала лаяться на все, на скотину, на печку, орала, распоясанная, среди двора:

– Анютку какую-то завел!.. День-деньской бьешься с ним, с подлецом...

– Ах, дубина, дубина! Вот уж дьявол-то! – бесновался Иван Алифанов, слыша этот лай, и в то же время чувствовал себя кругом обманщиком, кругом виноватым в бесконечном оскорблении этой женщины.

С той минуты он поглощал декоп рюмку за рюмкой, огрызаясь на жену, как зверь, и чувствовал себя погрязающим в грехе. Начались дни безобразные; два зверя очутились в пустой берлоге, и Ивану Алифанову стало страшно.

В одну из минут крайнего ожесточения на жену и крайнего безграничного сознания своей низости он вдруг как бы очнулся, опомнился. Он вспомнил, что давно ничего не делает, отдыхает, и понял, что необходимо сейчас же, сию же минуту запрячь себя опять, опять вогнать себя в непрерывную маяту труда, работы, еды и перевозки. С лихорадочною поспешностью, не думая о том, тот ли теперь час, когда можно ждать прихода поезда, он, побуждаемый только жаждой спастись от гибели, торопливо запряг в сани (была уже зима) отдохнувшую лошаденку, оделся, как всегда, по-ямщицки, подпоясался и как ни в чем не бывало сказал жене, что «в случае скоро не буду, стало быть, кладь есть», и поспешно уехал на станцию.

Быстро выехав из ворот на свежий морозный воздух, по пушистому снегу, на отдохнувшей, повеселевшей клячонке, он почувствовал, что ему стало много легче, и он всячески старался удержать в себе это облегченное состояние духа, старался представить себе, что и в самом деле ничего не бывало.

«Еду, мол, на станцию, – думал он, стараясь определить собственное свое состояние духа. – Еду и больше ничего...» Но он с тоскою чувствовал, что теперь хоть и то же все пови-

димому, но далеко не то. Дома у него уже не то, что было; ему уже неприятно туда воротиться, к этой грубой, озлобленной женщине, перед которой он кругом виноват и с которой он поступил как Иуда-предатель.

И хотя он бодрился и храбрился, но никогда у него не было на душе так тяжело и мрачно, как в этот раз. Однако он, как и прежде, подкатив к вокзалу, привязал лошадь и, заткнув за пояс кнут, поместился на платформе в ожидании поезда. Скучно ему было до чрезвычайности; он с отчаянием видел, что жизнь его – холодная и тяжкая маята, и терялся в тоске неведения: как ему выбраться из крошечного ада, в котором он живет? «Работа!» – вот что говорила ему капля здравого смысла, не отравленная еще декопом, который он стал пить в последнее время беспрестанно, так как боль под сердцем перешла в настоящее физическое страдание, затихавшее на время только от сивухи. Если бы бог послал, думалось ему, хорошую, верст за тридцать «путину» с кладью, а на это пошло бы суток двое, а по желанию и трое, времени, так можно бы, пожалуй, и войти опять в колею «маяты», да и баба бы позатихла, вынужденная сосредоточивать свои мысли на ожидании мужа, а не на злобе к нему. И все это, вероятно, так бы и случилось, если бы судьба запрягла Ивана опять в трудовой хомут. Этой запряжки могло не случиться сегодня и завтра, но она непременно бы случилась на третий, на четвертый день ожидания, так как никакого иного выхода для огорченного деревенского человека нет; может, прав-

да, над ним в такие трудные минуты возобладать кабак, но Иван, как видим, уже испугался своего положения, уже напряженно стремился выйти из него, жаждал трудовой тяготы и непременно бы дождался ее, повинувшись только здравому смыслу, который в нем не умер и который не указал бы ему никакого иного исхода. Ничто в строе народной, трудовой жизни не поддержало бы мечтаний Ивана об Аннушке, и образ ее постепенно утратил бы весь тот ореол, то есть всю эту «дурь», которую его окружило расстроенное воображение Ивана.

Так непременно бы и случилось, если бы деревенская жизнь в наших местах была только трудовая, хозяйственная, то есть в самом деле деревенская. Но на деле это уже далеко не так: железная дорога, сделавшая возможным сношение деревни с Петербургом и с людьми всякого не крестьянского звания, сделала возможным вторжение в народную жизнь и явления совершенно иного порядка жизни. Камера мирового судьи, устроенная близ станции, привлекла в деревню вольнопрактикующего адвоката. Торговые обороты привлекли множество всяких мелких агентов, живущих некрестьянскими интересами. Трактирщик должен выписать газету, листок; для починки интеллигентных пиджаков появилась портной с вывеской, изображающей и ножницы и фрак. А там, глядишь, неведомо откуда появилась афиша, извещающая, что с дозволения начальства в доме купца Крючникова будет дан спектакль: «Лев Гурыч Синичкин» и «Ма-

теринское благословение», причем окажутся и актеры и актрисы: акушерка, фельдшер, адвокат. Вторжение городских вкусов и привычек в обиход чисто крестьянской жизни сделало возможным для деревенского обывателя столкновение с такого рода новыми, неожиданными для него явлениями, которых деревня ему никогда бы дать не могла... Вот эта старуха рыбница, которая аккуратно каждое утро приезжает со свежей рыбой на товарном поезде, «ни в жизнь бы» не дала из своего заработка и пятак на водку мужу; каждую вырученную копейку она так спрячет в своих юбках и в потаенных карманах, что муж никогда эту копейку не отыщет, «хоть все раздери на части»... И вот эта-то скряга, наслушавшись в «щелочку», что такое представляли на сцене в доме купца Крючникова, заплакала, разнежилась и стала каждый раз тратить по тридцати копеек, когда только идет спектакль. С пустою после проданной рыбы корзинкой она проворно бежит в кассу, роется в своих юбках, в потаенных карманах, вытаскивает пятаки и копейки и берет билет на «Бедную невесту»... Идет из театра – плачет; едет на четырехчасовом ночном поезде домой и всю дорогу рассказывает пьесу тормозному кондуктору, а в шесть часов опять возвращается с корзиною рыбы. Вот что сделали со скрягой и змеей подкольной (как всю жизнь именовал ее муж) случайности вторжения в деревенскую глушь явлений иного строя жизни.

Одна из таких неожиданностей, совершенно неподходящих в деревне, нагрянула и на Ивана Алифанова. «Чувство»,

пробужденное в нем образом Аннушки, само бы собой угасло в нем, как «дурь», под влиянием обыденной трудовой «маяты». Но случайность совершенно не деревенского свойства сделала возможным, что пьяный, больной, старый мужик мог вместо жадно желаемой им «запряжки» неожиданно растаять от самых нежных чувствований.

Тяжелый камень горя и тоски угнетал и душу и мысль Ивана Алифанова, когда он стоял на платформе, ожидая поезда и долгой поездки с кладью, которые избавят его от душевных мук. Декоп, выпитый в значительном количестве, царапал у него под сердцем словно когтями. Он крепился, но маялся и с нетерпением ждал поезда. Наконец поезд пришел. Извозчики бросились добывать себе пассажиров. Иван Алифанов также пошел к толпе.

– Извозчик! – окликнул его голос какой-то пискливой барыни, – есть тут гостиница с номерами?

– Есть, сударыня! – сурово ответил Иван. – Только будет ли вам по вкусу?

Иван сказал так потому, что барыня была, на его взгляд (он видел всякую породу), довольно «форсистая»: огромный турнюр, косички, спущенные на лоб, муфта, мешочек с цепочкой, огромные круглые пуговицы на дипломате и в зубах папироска.

– Номера у нас грязные, – прибавил Иван.

Форсистая барыня закурила новую папироску, бросила в сторону окурков, потом почему-то вздохнула и сказала:

– Грязные?.. Ну, что ж... Вези меня туда... Надо ж мне куда-нибудь!

Сторож с чемоданом, корзиной и узлом с подушками, завязанными в красное шерстяное одеяло, пошел вперед за Иваном, а за ними, поминутно затягиваясь папироской и рассеивая искры и дым, следовала форсистая барыня.

– Боже мой! – шептала она, – куда меня занесло?..

Каким образом, в самом деле, занесло сюда эту форсистую барыню? Что ей здесь нужно? Зачем она сюда попала? Кто она такая, наконец?

Ответить на эти вопросы можно только единственно при помощи кухарки Степаниды, служащей у той петербургской хозяйки, у которой Олимпиада Петровна (так звали форсистую даму) нанимала комнату. Эта Степанида не раз обращалась, по своей сердечной доброте, к этой самой Олимпиаде с такими словами:

– Ты, Ампиада, смотри, будь поаккуратней! Околодочный который раз спрашивает: «Какая такая у вас дама бесперечь то в шестом, то в седьмом часу домой приходит?.. Какими такими делами занимается?» Вот что говорит-то! Ты подумай!

– Какое ему, дураку, дело? Вот еще новости: «где я бываю!» Где хочу, там и бываю!

– Ну, так ты вот как знаешь там... А он уж сколько раз к дворнику приставал... «Чем, говорит, она живет?»

– Дурак какой!.. У меня билеты из немецкого клуба, как

он смеет?

– Ну, видно, смеет... А я тебе говорю любя. Смотри!.. Дворник-то уж разов пять меня пытал о тебе... Гляди, как бы чего не было!

– У меня знакомые генералы. Ты скажи им, дуракам, это!

– Послушают они тебя, как же!

Много раз Степанида предостерегала таким образом Олимпиаду Петровну, и та хоть «форсила» своими знакомствами с генералами, но после таких предостережений обыкновенно дня по три, по четыре оставалась дома, а потом опять получала билет в клуб. Ввиду же того, что урожай прошлого года щедро наполнил все самые мельчайшие клетки бюджетных таблиц, досуг, сделавшийся доступным даже для деревни, принял в Петербурге, конечно, также соответственные размеры; Олимпиада Петровна поэтому, несмотря на предостережения Степаниды, два раза возвращалась на тройках с «компанией» не раньше семи часов утра и в последний раз промчалась как раз мимо того околодочного, который допытывался у дворников об ее средствах жизни. Командуя и дирижируя целою толпою дворников и не менее значительною толпою каких-то снеговых куч, взрытых посреди улицы, околодочный этот остановил на Олимпиаде Петровне такой взгляд, от которого у нее вся душа перевернулась.

Скоро, не больше как через час, она поняла, что дело ее плохо.

– Говорила я тебе, – вся красная от волнения, почти завопила Степанида, появляясь в комнате Олимпиады Петровны вскоре после ее возвращения на тройке, – говорила: берегись, оглядывайся!

– А что случилось?

– Случилось, что теперь тебе не будет больше ходу... Поставили у ворот переодетого... шагу тебе не даст сделать... Куда ты ни сунься, везде тебя найдут... И уж тогда прощай! Запишут!

Вероятно, Олимпиада Петровна знала, что значит это слово. Только она испугалась, потом заплакала, потом позвала Степаниду и сказала:

– Как же мне быть-то?

– Ты чего же думала-то? – осердилась Степанида. – Раньше-то ты зачем моталась?.. Как быть!

Степанида сердилась на пустопорожнюю бабенку, но, по доброте своей, не могла не думать о ней. И вот что она, наконец, придумала:

– Тебе бы убечь из Питера-то куда-нибудь...

– Куда ж я убегу? У меня и денег-то нет.

– Ну, вещи заложу.

– Да куда?.. Куда уйти?

– А сокройся куда-нибудь. Сокройся ты в деревню. Хоть бы к нам поезжай, пока они перестанут гоняться за тобой. Поезжай к моей сестре, у нее дом свой... Верх свободный, летом отдает под дачу... Вокзал близко, все, что угодно, до-

станешь. Поезжай, поживи хоть до рождества-то... Ан они и притихнут.

Подумала, подумала Олимпиада Петровна и решила ехать. Степанида заложила ее вещи, дала адрес сестры, и вот Олимпиада Петровна очутилась на нашей станции, с тем чтобы потом поселиться у сестры Степаниды.

Лошадь Ивана Алифанова мчала форсистую даму с ее багажом по каким-то сугробам и темным закоулкам к ярко освещенному трактиру; а Олимпиада Петровна, оглядываясь кругом себя и не находя ровно ничего привычного ее глазу, привычному к освещенным столичным улицам и вообще к газовым рожкам, прошептала опять в полном недоумении:

– Куда это я попала? Боже мой!

Наконец сани остановились у трактира.

V

– Худо вам будет здесь! – сказал Иван Алифанов форсистой барыне, когда они по грязной и узкой лестнице поднялись во второй этаж трактира в номера. Номер был грязен, мал, но жарко натоплен. Непривлекательность номера, повидимому, не удивила Олимпиаду Петровну, она быстро разделась, и хотя Иван Алифанов увидел в ней то, что называется «щепкой», но почувствовал, что есть около нее какое-то незаконное веяние, что-то даже нужное человеку, во всех смыслах расстроенному. И поэтому, когда Олимпиада Петровна, тотчас же после того как разделась, еще не рассчитываясь с Иваном, потребовала себе бутылку пива, он, Иван, понял, что это именно так и быть должно, и почувствовал, что в этом поступке есть что-то и к нему подходящее.

– От груди пью, грудью страдаю! – сказала Олимпиада Петровна, опоражнивая стакан, и, налив другой, подала его Ивану.

– Выпей!.. Ты тоже озяб.

Иван, когда-то сильно запивавший, боялся пива, которое его всегда сваливало с ног, а с некоторого времени он стал побаиваться и своего «декопа», который, очевидно, тянет его к чему-то недоброму; сегодня он выехал на станцию исключительно для того, чтобы привести себя в порядок, но беззаконная атмосфера, существовавшая около форсистой ба-

рыни, заразила и его – и он залпом выпил стакан.

И этот стакан пива опять попал туда же, под сердце, в самое больное место.

– Посиди! – словно давнишнему знакомому, по-приятельски сказала форсистая особа. – Мне спросить надо у тебя... Пусть лошади подождут... Я ведь одна тут, никого не знаю.

И Иван Алифанов присел. С ногами забралась на диван и Олимпиада Петровна, обнаруживая рваные башмаки.

– Скажи коридорному, чтобы дал еще бутылку. Грудью страдаю... Пока из аптеки лекарство не возьму, хоть пивом... Аптека есть?

– Есть аптека, как же.

– Ну, так ты мне потом возьмешь... Налей себе стакан.

И опять Иван налил себе стакан, и опять он почувствовал, что пиво поведет его не к добру, но что противиться этому почему-то уже нельзя.

– Доктора советуют дышать деревенским воздухом, – сказала Олимпиада Петровна.

И стала врать дальше.

– Лечи не лечи, – с горечью говорила она, дымя папиросой, – ничего не будет! Раз надорвали мое сердце... какие тут лекарства?

И опять она выпила пива. И Иван также выпил еще.

– В меня был влюблен (да и сейчас он меня забыть не может) богатый, красивый гусар. Злые люди расстроили, насильно его женили, отняли от меня... Вот я и больна... чего

тут лечить? Я забыть его не могу! Каждую почту пишет... Он сюда приедет потихоньку от жены... «Если ты, говорит, не допустишь меня повидаться, так я застрелюсь».

И опять позвали коридорного и выпили пива. Иван Алифанов стал глубоко вздыхать и пьянел от пива так, как не пьянел еще от декопа.

– Нет! – восклицала Олимпиада Петровна, ерзая на диване и сопровождая свои речи выразительными движениями руки с папироской, – нет, раз человек полюбил, он век этого не забудет!.. За меня сколько женихов сваталось, а я не могу! Пускай я умру, а не разлюблю его... Я его люблю и так и умру с *этим!*

Иван Алифанов не знал, что Олимпиада Петровна объявила уже о своей грудной болезни лакею на Любаньской станции, который поэтому потихоньку принес ей в пустую комнату первого класса рюмку коньяку и бутерброд со свежей икрой; не знал он, что кондуктор поезда, заразившись атмосферой чего-то привлекательно незаконного, пересадил ее из третьего класса в отдельное купе второго и принес ей туда две бутылки пива и стакан. Не знал этого Иван и не замечал, что язык Олимпиады Петровны как будто бы иногда спотыкается. Он только неотразимо чувствовал, что в его положении ему не найти лучшей компании, что все слова Олимпиады Петровны есть именно те самые, которые как раз подходят к его сумбурному душевному настроению. Он хорошо понимал, что такая это за фигура перед ним: она та-

кая же заваливающая, как и он сам, что ему не следовало бы «чувствовать» чего-нибудь насчет Аннушки, но Аннушкин образ был в нем, и речи Олимпиады Петровны воскрешали его, выдвигали его опять на первый план, затемняя им здравую мысль об исцелении себя трудом. Он знал, что мысли его незаконны и что перед ним сидит также незаконница, но в то же время знал, что все это незаконное необходимо ему теперь.

– Сударыня, барышня! – сказал он, видя, что бутылки пусты, и не желая прекратить ни беседы с незаконницей, ни своих незаконных мыслей, – дозвоьте и мне поставить бутылочки четыре, а?.. от мужика? Мужик тоже душа христианская.

– Чем же мужик хуже других?

– Верно! Ну, вот, благодарим!

Появилось Иваново пиво. Олимпиада Петровна не брезгала и не отказывалась от компании.

– Все мне одной-то скучней. А тут хоть слово с кем сказать.

– Верно, верно это...

– Что же я одна-то? Ну, что я без него?.. Вот и деньги у меня есть, восемьсот двадцать пять рублей в год получаю. Отцовская пенсия. Полковник отец мой был, известный. А что мне в них? Так вот маешься одна, без пристанища... Нет, уж коли раз полюбишь...

Иван Алифанов знал, что таких слов он даже «не смеет»

слышать, что это грех и подлость с его стороны, но не мог сопротивляться удовольствию незаконных размышлений: и ощущений и начинавшим путаться языком говорил:

– Вер-рно! верно это!

– И разве можно жить без любви? Ведь уж ежели человек тебе по сердцу, то только с таким человеком и жить. Из-за чего же больше? Деньги! Да наплевать мне на деньги без того, кого я люблю.

– Ах-х! – вздыхая до глубины самого больного места под сердцем, почти стонал Иван, чувствуя слабость своих незаконных томлений.

Олимпиада Петровна поняла, что речи ее действуют на мужика, и продолжала их неумолчно в том же самом направлении, покуда весь стол не заставился бутылками и покуда она не заснула тут же на диване, не раздеваясь.

Иван Алифанов, шатаясь, подошел к столу, загасил пальцем сальный огарок свечи, чтобы не было пожара, и, спотыкаясь, стал спускаться с лестницы. Было уже довольно поздно; вся деревня спала. Лошадь Иванова иззябла и топталась с ноги на ногу. Иван ввалился в сани и пустил лошадь: «иди, куда хошь», а сам только и думал: «верно! верно!» – и Аннушка опять одна владела всею его мыслью. Все было скверно, и сам он скверен, и в доме у него тоска, и вся жизнь его один мусор, и жена с своими горшками одно безобразие, – все, что он пережил и чем теперь жил, все одна сплошная подлость, а вот Аннушка – вот это настоящее! Это вот дей-

ствительно душа; она только одна и есть во всей его жизни сокровище, солнце, сияние. «Если бы с нею-то, все бы было не так, все бы было, бог знает, как хорошо!»

И с этого беззаконного вечера Иван Алифанов ознакомился с совершенно неожиданным для него душевным настроением: самым нежнейшим мечтанием об Аннушке. Он вовсе не пытался ее разыскать, увидеть, поговорить – нет, он чувствовал, что ему довольно нежных мечтаний, что Олимпиада Петровна хорошо надоумила его заняться этими нежными мыслями, но знал, что без пива, без постоянного опьянения все это разлетится вдребезги и он окажется по малой мере в дураках. И он непрерывно пил, постоянно торчал у Олимпиады Петровны, постоянно вздыхал, слушая ее рассуждения о чувстве. С сотворения мира не было сказано в нашей деревне такого количества слов о «чувствах», какое наболтала в самое короткое время Олимпиада Петровна в компании с развежившимся мужиком. Для развежившегося мужика эта болтовня была как бы музыкою, совершенно не напоминавшею ему ни о чем пережитом, и под аккомпанемент этой музыки он пил и пил, и скоро впал в состояние бессознательного запоя.

VI

Деревенские новости, сообщавшиеся мне встречными и поперечными деревенскими жителями во время моих зимних поездок в деревню, донесли до меня вести и о несчастьи, случившемся с Иваном Алифановым. Весть, что Иван начал пьянствовать, положительно поразила меня: я не знал во всей деревне другого такого крестьянина, вся жизнь которого шла бы так исключительно по указанию ума, по строго обдуманному плану, как шла жизнь Ивана; сдержанность в каждом слове, ни лишнего шага, ни ненужного поклона, ни навязчивости, – все это решительно выделяло его в толпе деревенских людей, повинующихся требованиям ежедневной нужды и постоянно ею помыкаемых. Иван, как мне всегда казалось, жил с какою-то твердо намеченною целью – словом, знал, зачем жил, и знал, как ему справиться и как разобратся. И вот этот-то, бесспорно умный, с сильною волей человек вдруг запьянствовал и с каждым днем стал терять образ и подобие даже простого деревенского человека. Каждый приезд я узнавал про него что-нибудь новое, и все неожиданнее и все хуже: то говорили – пьет и жену бьет; затем толковали о какой-то «петербургской пьянице», с которою он связался; плели о том, что бросил жену и пропивает все имущество с барыней; затем пошли вести о драках с железнодорожными служащими, с волостными властями.

Разоренье, распродажа по самой ничтожной цене всего имущества, до последней порошинки, как своего, так и жениного, – и все это следовало с необыкновенной быстротой; бедная, брошенная Анисья ходила по деревне бесприютная, оборванная, жаловалась начальству на петербургскую «барыню», вопияла о своем пропитом имуществе, а Иван Алифанов не переставал сгорать на огне, не стыдился даже просить у прохожего на выпивку, сняв шапку. Видеть его было ужасно. Он, пьяный, уже еле таскал больные ноги, а лошади не было давно; рваный, ободранный, с опухшим, бессмысленным лицом, носившим признаки близкой смерти, он был ужасен. Говорить с ним не было возможности – он ничего не понимал, только хрипел: «водочки!»

Нельзя было сомневаться в его близкой кончине и, приехав в деревню постом, после того как я не был в ней месяца два, я вполне был уверен, что кости Ивана давно уже лежат в сырой земле. Ни на станции, ни на улице уже не встречалась его пьяная фигура. В его доме с пустым двором и воротами, снятыми и пропитыми, было мертво, пусто и темно. Страшно было взглянуть на это еще недавно жилое место, как бурей разметанное по ветру злым духом – русскою сивухой. Я не пытался даже и спрашивать об Алифанове, зная, что он уже давно забыт и забыта его занесенная снегом могила. Но история, случившаяся с ним и так меня да и всю деревню удивившая и интересовавшая, прошла в жизни деревенских жителей не бесследно, и они, как оказалось, гораздо больше,

чем я, следили за Иваном Алифановым.

– А ведь Ванька-то Алифанов поправляется помаленьку! – сказал мне по собственному своему желанию один из местных крестьян и прибавил, очевидно заинтересованный этим удивительным делом: – Оживает ведь сызнова! Вот ведь, что господь творит!

Это известие о воскресении из мертвых человека, явно обреченного на смерть и могилу, до такой степени меня обрадовало и умилило, что я самым искренним образом принял объяснение необыкновенного дела, сделанное крестьянином.

– Да, – сказал я, – истинно, брат, это уж дело господнее!.. Это ты верно говоришь!

– И чисто господнее, например, определение. А то бы ему окончательно пропасть надо! Да как же? Послушай-кось, как дело-то вышло.

И затем частью из рассказа этого крестьянина, частью из других случайных толков и пересудов со встречными и поперечными стало мне известным удивительное дело воскресения Ивана из мертвых. Господь, который дал нам урожай, досуг, отдых и поправку, наградил нас, по непостижимой своей премудрости, и трескучими морозами. Морозы в нынешнем году и в конце прошлого года бывали крепкие и лютые. Случаи замерзания были весьма нередки в эту зиму, и между прочими жертвами дедушки-мороза едва-едва не оказался и Иван Алифанов. Во выюжную, трескучую ночь, возвращаясь

еле живой из кабака в свой разоренный дом, Иван Алифанов, сбитый с ног ветром, повалился к подворотне чьего-то дома и, не имея сил встать, покорно отдался во власть вьюге и морозу. Стало заносить его снегом, заживо наносившим над ним белый могильный курган. Стало Ивану тепло и мягко, и он, наверное, заснул бы навеки, если бы господь, покарав его за грехи (так потом сообразил Иван) «досугом» и урожаем, не пожелал и помиловать его уже морозом. На полумертвого Ивана натолкнулся местный лавочник, возвращавшийся из какой-то поездки; он жил в том самом доме, у ворот которого умирал Иван. Раскопав почти засыпанного снегом человека, он стащил его к себе в кухню, отогрел и препроводил утром к жене.

Иван был жив, но почти в бессознательном состоянии; лежа в своей разоренной избе под грудю каких-то лохмотьев, которые удалось кое-откуда набрать Анисье, он долго не понимал, что такое с ним творится и где он находится. Анисья привела фельдшера, который разрешил ей давать Ивану немного водки (он по себе знал, что нельзя «прерывать сразу») и нашел, что Иван сильно отморозил руки. Иван пока не понимал своего положения; он спал подолгу, бессильным сном, а открыв глаза, глядел ими, но не думал. Мысль проснулась в нем только тогда, когда он попробовал пошевелить руками... Пальцы ему не повиновались; их как бы не было.

«Без рук остался!» – мелькнуло в голове Ивана, и ужас

охватил все его существо. Он не в могиле, он жив, но никогда он не был так одинок и совершенно отделен от всего света, как теперь, когда у него не владеют руки. Небо видно в окно, люди ходят по улице, живут, работают, земля-матушка, лежащая теперь под снегом, скоро растает и зацветет, но все это не для него, он оттолкнут от всего этого, он не может теперь войти со всею этою прелестью ни в какую связь, ни в какие отношения. Будет расти трава, рожь – Иван не будет косить и возить снопы; он не будет ни запрягать, ни отпрягать, ни ехать. Что будет делать при нем Анисья без хлеба, без сена, без скотины? Будь руки – это основание всей жизни Ивана – и опять бы было все... Но нет рук, и ничего не будет, и Анисья уйдет в работницы, и никому он не нужен – ни поле, ни лес, ни луг не нуждаются в нем, отталкивают его от себя.

Вот в какую могилу попал этот живой мертвец! И из этой могилы жизнь стала казаться ему в самых чарующих образах. Как все было удивительно хорошо, пока он не очутился в этой могиле, – рай был, а не жизнь! И прежде всего в нем быстро возникла и созрела пламенная любовь к жене. Сразу он припомнил все восемь лет ее трудовой жизни с ним, скромной, молчаливой, и она, ненавистная недавно Анисья, явилась перед ним как ангел-хранитель. Как бы можно с ней жить, с такою работающею, тихою бабой!.. Как бы с ней хорошо работать в поле и как хорошо в доме!.. Он заливался слезами, просил у Анисьи прощения, умолял фельдшера лечить

ему руки. Только бы что-нибудь осталось, только бы можно было за что-нибудь ухватиться, то есть как-нибудь опять пристать к труду, и тогда уж он ко всему опять пристанет и присоединится, и все что ни есть вокруг него, – все ему надо, все ему подходит и со всем он в связи... И небо и земля, и дождь и снег, и люди и животные – все теперь опять вошло с ним в связь, и он опять в связи со всем творением Божиим.

– Р-рради Христа, царя небесного! – рыдая как ребенок, умолял он фельдшера, с трудом поднимая свои обмотанные тряпками руки. – Хоть два бы пальца!.. Анисьюшка, не покинь ты меня!

Фельдшер мазал ему чем-то больные руки, но говорил, что надобно лечь в больницу; не было денег отвезти Ивана в город, и ждали от родственников из Петербурга. А в ожидании этих денег в Иване с страшною силой обновлялась жажда к жизни. Все ему казалось очаровательным, благословенным от бога – таким, лучше которого ничего не может быть; каждая соломинка, точно драгоценное золото, сокровище, рисовалась в его воображении, мечтавшем о счастье труда в поле, в лесу, в доме... И Анисья, эта связь неразрывная со всею прелестью рисовавшейся Ивану жизни, с каждою минутой принимала в его глазах все большую и большую цену... Драгоценная, даже неоцененная была для него эта Анисья.

– Батюшки мои милые! Родимые мои, спасите меня. Сохраните меня на белом свете! – изнеможенный, еле-еле питавшийся и постоянно обливавшийся слезами от сознания

неисчерпаемого горя быть живым вне жизни, поминутно вопиял Иван Алифанов на всю свою пустую избу и, наконец, был-таки отправлен в больницу.

– И это именно господь его спас! – толковали деревенские обыватели, разбирая неожиданный факт воскресения Ивана. – Именно из доброты своей господь руки ему отморозил, а не что прочее, потому руки-то – весь наш капитал. У нас во всем наши руки... Вот как Ванька-то увидел, что у него руки-то, храни бог, пропадут, так откуда и рассудок опять взялся. «Лучше бы я замерз, говорит, чем если жить придется безрукому!» А я ему говорю: «Это тебя господь хотел образумить, дурака!» – «Виновен, говорит, я пред богом в гордости моей!» Поглядит, поглядит на лапы-то, зальется слезами. «Что я без рук-то? Ни косить, ни пахать, ни лошадь запрячь, ни воды принести – ничего!» Подымет этак к небу свои завертки, молит бога: «Хоть сколько-нибудь сохрани, господи, чтобы чем-нибудь взяться можно было, – я уж как-нибудь изловчусь...» Господь-то именно напужал его недаром, потому что руки самое есть первое дело в нашем положении.

– И что же, подживают?

– Фельдшер сказывал, что, говорит, по три конца на каждой руке надобно оторвать. Отрежут по суставу на трех пальцах, ну а впрочем останется еще по два сустава на пальце... Ничего, обойтись можно! Вот бог-то!.. «Дай-ка я тебе пригрожу, будешь ли ты фордыбачить? Как оставлю без рук, так

и подумаешь, мол, о своей жизни!..» И думает: «И что только это мне взбрело, псу?» А Анисья перевязывает ему лапы-то и уж не промолчит: «Ишь, дохватался... Любишь Анютку-то лапищами хватать... Попробуй-ка, похватай теперича. Лежит, пес, тише воды, ниже травы!» – «Прости, говорит, меня, подлеца! Подруга ты моя законная! Кормилица ты моя!» Понимать стал! Нет, ничего, слава богу, очувствуется... Опять помаленьку... как-нибудь... жить будет!

– Ну, а та?

– Петербургская-то пьяница? Уехала, должно быть, куда... Слава богу, хоть Ванька-то уцелел... И за то бога благодарить надо!

Глубоко обрадовали меня эти вести, и я с удовольствием жду той минуты, когда Алифанов придет ко мне, покажет свои руки и с удовольствием скажет:

– Ведь только бог спас, а то бы гнил я давно в земле.

Не думаю я, чтобы с Алифановым могло случиться что-нибудь подобное еще раз: редки у нас урожаи и редко балуют они человека таким просторным досугом.

Примечания

Рассказ был напечатан впервые в «Русской мысли», 1888, VI, как самостоятельный рассказ тогда, когда весь цикл «Кой про что» был уже давно закончен. Однако это произведение тесно связано с рядом рассказов цикла – в нем говорится о событиях, происшедших «после урожая» осенью 1887 года в той же деревне Сябринцы, Новгородской губернии. В архиве Успенского сохранились два небольших отрывка рукописи и полная корректура ранней редакции рассказа с многочисленными поправками, рукописными вставками и вычеркнутым текстом, свидетельствующими о коренной переработке рассказа.

Первая редакция рассказа – простое бесстрастное изложение одного из деревенских происшествий; в окончательной редакции Успенский показывает нам сложную психологическую драму, вызванную определенными социальными условиями и истолкованную писателем при помощи его теории «власти земли». Соответственно этому коренном переработке подвергся образ Ивана Алифанова – вместо рядового крестьянина первой редакция; выбитого из привычной колеи волей «слепого случая», во второй редакции мы встречаемся с умным, независимым, волевым человеком, благородным и совестливым. Сложнее даны и его переживания, связанные с воспоминаниями о его первой любви, освобожден-

ные во второй редакции от всех элементов плотского, чувственного; многообразнее показаны и его взаимоотношения с женой. Муки, страдания и падение Ивана Алифанова во второй редакции объясняются отходом его от «трудовой тяготы» крестьянской жизни, появлением в деревне «не-деревенских» неожиданностей, «не-деревенских» переживаний, городских «сентиментальностей». В первой редакции рассказа Ивана Алифанова бог покарал за грешные мысли и поступки в отношении к Аннушке, во второй редакции грех стал гораздо более серьезным – грех по отношению к «земле-матушке». Мечтания Алифанова «о счастье труда в поле, в лесу, в доме» возбудили в нем жажду жизни и способствовали полному его духовному возрождению как крестьянина.

Рассказ «Взбрело в башку» не раз печатался в «изданиях для народа». Еще при жизни писателя, в 1890 году, в изд. «Пчелка-Правда» В. И. Иксуль этот рассказ, совместно с рассказами «Четверть» лошади» и «Квитанция», вызвал отрицательный отзыв цензора С. И. Коссовича, который обращал внимание цензурного комитета на то, что все три рассказа «написаны на одну и ту же тему о безвыходном положении бедного класса». «В рассказе «Взбрело в башку», – писал цензор, – описываются похождения крестьянина Ивана Алифанова. Долго жил этот крестьянин обстоятельно, некогда было ему думать про «свою жизнь», за постоянной и усиленную работою. На его несчастье наступил урожайный год. Алифанову открылась возможность отдохнуть. Явился до-

суг, а за ним и думы. Припомнились мужику обиды, перенесенные им безвинно в течение долгой его жизни. Закручился Алифанов, запил. Пил он без просыпу и чуть не замерз пьяный на улице. В больнице он опомнился и увидел ясно, что от всех бед одно только ему развлечение на земле – каторжный труд». Рассказы были допущены к печати только «в виде исключения для баронессы Иксуль».

В издании для народного чтения рассказ читался в среде фабрично-заводских рабочих, и, судя по отзывам рабочих, это произведение было правильно понято ими: «Один рабочий понял было, что автор хочет сказать, что «все произошло из-за свободного времени». Другие слушатели ему возразили: «Не из-за свободного времени, а потому, что обстановка тяжела вообще, виною всего – «тягость положения», только по этой причине свободное время отзывается так тяжело».

Сюжет рассказа основан на подлинном происшествии в деревне Сябринцы. В. Г. Короленко в своих воспоминаниях «О Глебе Ивановиче Успенском» рассказывает о прототипе Ивана Алифанова: «Сюжет рассказа разыгрывался у него <Успенского> на глазах в Чудове, и на некоторое время всех нас, своих друзей, он втянул в эту печальную историю, все фазы которой он переживал, как мы переживаем разве опасную болезнь самых близких людей. В этот раз он уговорил меня ехать с ним в Чудово, желая показать этого человека:

– Может, вы ему что-нибудь скажете... Вы не можете се-

бе представить, что это за человек!.. Какая душа! Просто замечательная! И как его всего перевернуло... Вот вы увидите сами... вот увидите!

Человек этот был местный крестьянин, занимавшийся извозом, и, приехав в Чудово, Глеб Иванович тотчас же кинулся к перилам деревянного вокзального перрона, выглядывая своего Герасима (имя я, впрочем, забыл) среди ожидавших на площади извозчиков...

Герасима не оказалось, и вместо него нас повез другой извозчик, мужичонко неприятного вида, болтливый, с фальшивыми нотами в голосе. Глеб Иванович спросил у него о Герасиме, и затем, при разглагольствованиях нашего возницы, какие-то тени внутренней боли проходили по его лицу.

– Вот... вот видите... – сказал он мне при какой-то особенно резнувшей ухо фразе извозчика... – Никогда Герасим не скажет такого. Ник-огда! Просто удивительно деликатный человек...» (В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 8, Гослитиздат, М., 1955, стр. 41).

О прототипе Олимпиады Петровны Успенский пишет в своих письмах к жене и к Гольцеву от 8.VI.1888 г.